

Янко-музыкант. Генрик Сенкевич

Рассказ «Янко-музыкант» публикуется в переводе В. Г. Короленко, недавно обнаруженном в архиве писателя литературоведом А. Храбровицким.

Родилось это на свет слабое такое да щедеушное. Кумушки, собравшиеся участливой кучкой у скамьи, на которой лежала родильница, покачивали головами над этой матерью и над этим ребенком. Шиманиха, жена кузнеца, самая разумная из них, обратилась к больной с словом утешения.

– Давайте, – говорит, – я над вами громницу[1] зажгу. Вы уж, – говорит, не жилица на свете, вам уж на тот свет собираться, да его преподобие позвать, чтобы грехи вам разрешил.

– Ба! – другая говорит. – А мальчишку-то сейчас крестить надо; он и ксендза не дождется, и то хорошо, коли «стригой»[2] не останется.

Говоря таким образом, зажгла громницу, а затем, взяв на руки ребенка, приснула на него водой, так что бедняга стал жмуриться, да и говорит при этом:

– Крещу тебя во имя отца и сына и духа святого и даю тебе имя Ян[3]*, а еперь душенька христианская, ступай, откуда пришла. Аминь!

Но христианская душа, очевидно, не имела ни малейшего желания «идти, откуда пришла» и вообще не желала оставлять крохотного тела, а начала брыкаться худенькими ножками этого тела и плакать, да тихо таково да жалостно, что кумушки говорили промеж себя: «Котенок не котенок – кто его знает, что уж это такое!»

Послали за ксендзом. Приехал, сделал свое дело, уехал; больной стало лучше. Через неделю вышла баба на работу. Малый еле тянет, а все-таки тянет, да на четвертый год «укуковала» кукушка хворость, он и поправился, да кое-как через пень колоду перевалил за десятый годок.

Худой был всегда да загорелый, щеки впалые, а брюхо раздутое. Волосенки белые-белые, точно вот лен, спадали все на лоб, закрывая большие глаза навикате, всегда широко раскрытые, точно глядевшие в какую-то неведомую необъятную даль. Зимой сидел малый за печкой, тихо всхлипывая от холода, а порой так и с голодухи, когда матушке нечего было положить ни в горшок, ни в печку. Летом ходил в рубашонке, опоясанной кромкой, и в соломенном обдерганном «капылюхе»[4], из-под которого поглядывал точно птица, задирая головушку кверху. Мать, бедная «коморница»[5], жившая изо дня в день точно ласточка под чужой крышей, может, и любила там малыша как-нибудь по-своему, да и была же часто и тала обыкновенно «подмененышем». Восьми лет ходил малый за стадом в качестве подпaska или порой, когда дома есть было нечего, в бору собирал грибы. Как уж его там волки не съели, – божья милость, видно!

Очень уж был он нерасторопен, и, как обыкновенно деревенские ребята при разговоре с чужими, он пихал в рот указательный палец. Не ожидали люди, чтобы малыш «дошел», и еще менее, чтобы мать дождалась от сынка поддержки, потому что и в работе он ничего не стоил. И в кого только он удался – неизвестно, на одно лишь был очень падок, именно на игру. Повсюду ему слышались какие-то звуки, и, как от земли немного поднялся, повырос, ни о чем более и не думал. Пойдет это в бор за коровой или с двояками по ягоды соберется, ничего не наберет, с пустыми руками вернется, да и говорит, шепелявя:

– Матуля, так штой-то в бору «игрляет». Ой, ой!

А мать ему:

– Сыграю я тебе, погоди!

Да и бывало: игрывала по нем большой кухонной ложкой. Малыш визжал, обещал: «Не буду, не буду!», а сам все думал: «Играло штой-то в бору, играло!» Вечерами он жадно ловил разноголосицу не угомонившейся еще к ночи деревни, и, уж верно, ему чудилось, что вся деревня звучит каким-то концертом. Даже на работе, раскидывая в поле навоз, он слушал с интересом, как ветер играл между зубьями вил.

Увидел этак однажды «карбовый»[6], как он стоял недвижно, с вставшими по ветру волосами, жадно слушая музыку ветра и вил, – увидел, снял это с себя крепкий ремень да и вывел мальчика из приятного созерцания знатною встрепкой. Да куда уж тут! Так его люди и прозвали: «Музыкант Янко!»... Весной он бегал из дому к ручью делать свирели из ивовой коры, а по вечерам, когда лягушки в прудах затягивали свой тысячеголосый торжественный хор, когда в траве отзывался дергач, большие жуки гудели, обивая блестящие росинки, и петухи, рассевшись на изгородях, выкрикивали в разных местах по деревне, – «Музыкант Янко» не мог сомкнуть глаз, и уж бог один знает, какую только музыку мог он слышать и в этой нескладице... В костел мать его и водить перестала, а то, бывало, как загудит орган или запюют на хорах сладким голосом божественную песню, у ребенка глаза застилают туманом, и глядит он кругом таково странно, точно вот с того света.

Сторож, ходивший по деревне ночным дозором и, чтобы отогнать сон, считавший на небе звезды или тихо беседовавший с собаками, много раз примечал белую рубашонку Музыканта, который тихо подкрадывался по направлению к корчме. Однако мальчик не входил, конечно, в корчму, – он подползал только к стенке и там, прикорнув и затаив дыхание, слушал. Внутри гремел веселый «обертас»[7], порой парубок выкрикивал «У-га!», и раздавалось притопывание каблуков, то опять звонкие девичьи голоски выносились: «Что же!» Скрипки напевали тихо и нежно: «Будем ести, будем пити, будем душу веселити», а контрабас грубым голосом вторил с надлежащей важностью: «Как бог даст! Как бог даст!» Снопы яркого света брызгали из окон в темноту летней ночи, и каждый брус в корчме, казалось, вздрагивал, колебался и пел... А музыкант Янко только слушал и слушал!..

И чего только не отдал бы Янко за эти скрипки, выводившие тонкими нежными голосками: «Будем ести, будем пити, будем душу веселити», за эти звенящие певучие дощечки. Ба! Да откуда возьмешь их и где только их делают?! Эх, дали бы ему раз, хоть один только разочек взять что-либо подобное в руки. Где уж!.. Он мог только слушать, и он слушал, слушал до тех пор, пока из ночной темноты не раздавался голос ночного стражника:

– А не пойдешь ты домой, полуночник!

Тогда уж он мелькал в темноте своими босыми пятками, а за ним вдогонку неслись голоса скрипок: «Будем ести, будем пити, будем душу веселити», и исполненный важности контрабас добавлял свое: «Как бог дал, как бог дал, как бог дал!»

Большой праздник выпадал на долю Янка, когда ему удавалось послушать любимые скрипки – на свадьбе или после жнитва. После таких праздников он забивался за печку и целые дни просиживал молча, посматривая из темноты сверкающими, как у котенка, глазами. Кой-как снарядил он и себе скрипочку из теса и конских волос,

но она не умела играть так прекрасно, как те, что подвизались в корчме; она звенела тихо, таково тихо, точно вот мошка мелкая или комары. Однако он играл на этой скрипке от утра и до ночи, хоть за это столько ему пинков доставалось, что наконец он стал похож на незрелое избитое яблоко. Да уж такая была натура: малыш худел все больше и больше, только живот все выпячивался, да белые волосы становились все гуще, да глазенки раскрывались все шире, да все чаще дрожали в них светлые детские слезки. А щеки и грудь западали все глубже и глубже...

Он нисколько не походил на других детей, скорее напоминал он свою же скрипку из жалкого теса, издававшую тихие, еле звенящие звуки. Притом каждый год к весне он начинал помаленьку обмирать от голода, так как в это время ему приходилось питаться сырой морковью да еще мечтами об обладании настоящей, всамделишной скрипкой.

Не к добру привели беднягу эти мечты!

На барском дворе у лакея была скрипка, и он пиликал на ней в час серых сумерек, желая этим прельстить горничную панны. Янко подползал временами промеж густого лопушника к самым дверям лакейской, чтобы поближе присмотреться к инструменту. А скрипка висела на стене, прямо против дверей, и у бедняги вся душа сосредоточивалась в глазах, устремленных к этой недоступной святине, к которой он недостойн прикоснуться; это был предмет его жгучей, страстной любви. И он пожелал ее. Раз, хоть раз один взять ее в руки или хоть взглянуть на нее прямо и вблизи... Бедное маленькое мужичье сердечко билось и трепетало от счастья при одной этой мысли.

Однажды ночью в лакейской не было ни души. Господа давно уже гуляли за границей, дом стоял пустырем, а лакей коротал вечера у горничной. Янко, притаившись в лопушнике, давно уже созерцал сквозь широко раскрытую дверь предмет своих страстных желаний. На небе как раз стоял полный месяц, и свет его, падая косвенно в отверстие двери, рисовал на противоположной стене светлый, яркий, выделявшийся из темноты четырехугольник. Этот светлый четырехугольник, сползая вдоль стены, все приближался к тому месту, где висела скрипка, и наконец она, вся освещенная, вынырнула из мрака. Тогда она засияла из глубины темной комнаты точно серебряным светом; все выпуклости и изгибы сверкали так сильно, что глаза Янка не выносили этого блеска. В этом волшебном освещении видны были совершенно ясно: изящный перехват, струны, перегиб ручки. Шпеньки белели и искрились подобно светящимся червячкам, и тут же серебряной нитью светился тонкий смычок...

Ах, все было так прекрасно, так волшебно прекрасно! И взор Янка светился все разгоравшейся страстью. Сидя на корточках меж листьями лопуха, с локтями, упертыми в худые колени, с открытым ртом, он все смотрел и смотрел. Страх удерживал его на месте, непонятное непобедимое желание толкало вперед. Колдовство, что ли, какое?! Скрипка, вся сверкающая, ясная, казалось, выплывала из мрака вперед, приближалась к ребенку... то опять очертания темнели, она точно удалялась, чтобы приблизиться опять и опять. Чудеса, видимое колдовство! Между тем подул ветер, деревья тихо прошумели, залопотали широкие листья лопушника, и Янку послышалось так явственно:

«Ступай, Янко! Там нет никого... Ступай же, Янко!..»

Ночь была тихая, светлая. В барском саду над прудом соловей стал запевать да пощелкивать: «Пооди возьми!». Добрая птица лелек[8] закружилась бесшумно над его головой: «Нет, нет! Янко!» Но лелек улетел, а соловей остался, и лопушник,

качаясь, все бормотал про себя: «Нет никого, нет никого!» Скрипка опять выступила вперед, засияла...

Маленькая сгорбленная фигурка двинулась осторожно вперед, а между тем соловей тихо-тихо пощелкивал: «Поди, иди, возьми!»

Белая рубашонка, не закрытая темными листьями, мреет невдалеке от растворенной двери; усиленное дыхание больной детской груди слышится уже на пороге. Еще мгновение – и за порогом виднеется одна только босая детская ножка. Напрасно ты, лелек, добрая птица, пролетаешь еще раз, крича: «Нет, Янко, нет!» Янко ступил уже в комнату.

Тут лягушки грянули разом в соседнем пруду из-под темных ветвей барского сада. Соловей замолк, лопух не шелохнет, стих ветер... Между тем Янко полз далее и далее, но вдруг его объял ужас. Среди лопухов он чувствовал себя дома, точно зверенок в родимых кустах, теперь он напоминал зверенка в ловушке. Его движения стали порывисты, дыхание короткое, со свистом, к тому же он очутился во тьме. Тихая летняя зарница, промчавшись по небу от востока и до заката, еще раз осветила комнату и в ней Янко на четвереньках перед скрипкой, с головой, приподнятой сверху. Но зарница потухла, туча закрыла луну, и уже ничего не было ни видно, ни слышно...

Только через минуту из темноты вырвался тихий и жалобный звук, точно кто неосторожно коснулся натянутой струны, и вдруг...

Грубый заспанный голос, по-видимому из темного угла комнаты, окликнул сердито:

– Кто тут?

Янко притаил дыхание, но грубый голос окликнул вторично:

– Кто тут?

Черкнули по стене спичкой, стало светло, а затем... Ах, боже! Послышались ругань, удары, детский плач, крики: «О! ради бога!», собачий лай. В окнах забегали огоньки, в усадьбе поднялся шум, суетня...

На следующий день Янко стоял уже перед судом у вуйта[9].

Неужто хотят судить малого в качестве вора?... Вероятно. Посмотрели на него войт и судьи, как он стоял перед ними с пальцем во рту, с широко раскрытыми испуганными глазами, маленький, худой, запачканный, избитый, не зная даже, где он, что нужно от него этим людям. Как тут судить этакое создание, которому всего десять лет, которое еле держится на своих слабых ножках. В тюрьму его, что ли?... Где уж! Надо же притом иметь и немного жалости к детям. Пусть его попросту возьмет сторож да пусть постегает маленько розгой, чтобы другой раз неповадно было, и все тут.

– Ну, конечно!

Позвали Стаха, что был сторожем.

– Возьми-ка его да постегай для памяти.

Стах мотнул глуповатой головой, головой зверя, захватил Янка под мышку, точно

котенка, и понес его на гумно. Дитя будто не понимало, что с ним происходит, или уж очень было запугано, оно не издало ни одного звука, лишь смотрело из рук, как смотрит пойманная птица. Почем ему знать, что это с ним хотят делать. Только когда Стах на гумне сгреб его своими лапами, растянул на земле, поднял рубашонку и вытянул прутот со всего плеча, тогда только Янко вскрикнул:

– Матуля! – И как его сторож розгой ударит, он свое: «Матуля, матуля!», но все тише, слабее, и наконец удары раздавались по-прежнему и уже не сопровождались детскими криками. Янко замолк.

Бедная, разбитая скрипка!..

И глуп же ты, скверный Стах! Разве бьют этак детей? Ведь это же было мало и бессильно, в чем и раньше душа-то держалась!

Пришла матка, взяла ребенка, но уж должна была донести на руках до дому... На другой день Янко не поднялся, а на третьи сутки, вечером, он умирал спокойно под толстым рядом.

За стенкой, в листве черешни щебетали ласточки, солнечный луч прорывался в оконце, окружая сиянием спутанные светлые кудри и бледное личико ребенка, в котором не было уже ни кровинки. Луч этот был точно открытой дорогой отходящей детской душе. Благо, что хоть теперь открылась ей широкая дорога ярких лучей, ее жизненный путь был поистине путь страшно тернистый. Между тем исхудалая грудь подымалась еще слабым дыханием, а по выражению детского личика было видно, что оно жадно ловит голоса деревни, врывающиеся в открытое окошко. Был вечер, и девки, возвращаясь с сенокоса, пели: «На зеленой, на травушке!», а со стороны ручья лились переливы свирелей. Последний раз слушал музыкант Янко, как пела деревня... На рядом с ним рядом лежала его тесовая скрипка...

Вдруг лицо умирающего ребенка прояснилось, и побелевшие уста пролепетали:

– Матуля...

– Что, сыночек? – спросила мать, подавляя подступившие к горлу рыдания...

– Матуля! Будет ли у меня на том свете настоящая скрипка?

– Будет, сыночек, будет! – ответила мать, но уж не могла сказать ничего больше, потому что в груди ее поднялась горькая жгучая жалость: «О боже! боже!» – И она повалилась грудью на сундук и заревела точно безумная или как человек, которому стало ясно, что уж не вырвать ему свою любовь из когтей смерти.

Да и не вырвала, – когда, поднявшись, она посмотрела на ребенка, глаза маленького музыканта были открыты, но неподвижны, а лицо носило печать какого-то напряженного и как будто мрачного величия. Луч солнца отошел также...

Мир тебе, Янко!

* * *

На следующий день господа вернулись из Италии в свою усадьбу. Вернулась молодая барышня с женихом. Жених говорил барышне:

– Quel beau pays que l'Italie![10]

– И что за народ, – настоящий народ художников. On est heureux de chercher la-bas des talents et de les proteger...[11] – добавила барышня.

Над музыкантом Янко шумели березы...

1878

Примечания

1 Восковая свеча, получаемая накануне пасхи у всенощной; ее держат за образамы в переднем углу и приписывают [ей] силу талисмана во время грозы. Ее же зажигают у одра умирающего. (Прим В. Г. Короленко).

2 Стрига – душа ребенка, умершего до крещения. (Прим. В. Г. Короленко).

3 Ян – Иван. (Прим. В. Г. Короленко).

4 Шляпа с широкими полями. (Прим. В. Г. Короленко).

5 Коморник – имеет в польском языке несколько значений, между прочим межевщик, землемер. Здесь это слово значит: нанимательница квартиры в чужом доме. (Прим. В. Г. Короленко).

6 Надсмотрщик. (Прим. В. Г. Короленко).

7 Танец. (Прим. В. Г. Короленко).

8 Лелек – козодой.

9 Вуйт (или войт) – начальник сельской администрации.

10 Что за прекрасная страна Италия! (франц.).

11 Какое счастье отыскать там таланты и помогать им (франц.).